

Антон Чехов

Невидимые миру слезы



АНТОН ЧЕХОВ

Невидимые миру слезы

«Public Domain»

1884

Чехов А. П.

Невидимые миру слезы / А. П. Чехов — «Public Domain», 1884

«... Компания остановилась и начала думать. Думала-думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.— Важную я вчера у Голопесова индейку ел! – вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. – Между прочим... вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают... Берут карасей обыкновенных, еще живых... животрепещущих, и в молоко... День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковородке изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу...»

Антон Павлович Чехов

Невидимые миру слезы

(Рассказ)

– Теперь, господа особы, недурно бы поужинать, – сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба. – В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бильмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивши и закусить нечем!

– Да, недурно бы теперь что-нибудь этакое... – согласился инспектор духовного училища Иван Иваныч Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. – Сейчас два часа и трактиры заперты, а недурно бы этак селедочку... грибочков, что ли... или чего-нибудь вроде этакого, знаете...

Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала-думала и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями.

– Важную я вчера у Голопесова индейку ел! – вздохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. – Между прочим... вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают... Берут карасей обыкновенных, еще живых... животрепещущих, и в молоко... День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковородке изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу... Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь... в каком-то забытьи... от аромата одного умрешь!..

– И ежели с просоленными огурчиками... – добавил Ребротесов тоном сердечного участия. – Когда мы в Польше стояли, так, бывало, пельменей этих зараз штук двести в себя вопрешь... Наложить их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь и... нет слов выразить!

Ребротесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь.

– Нет, не могу! – сказал он. – Не могу дольше терпеть! Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне! Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим чем бог послал. Огурчика, колбаски... самоварчик изобразим... А? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним... Жена спит, но мы ее и будить не станем... потихоньку... Пойдемте!

Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребротесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь.

– Я тебе уши оборву! – сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. – Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой! Поди, дурак, самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она тово... принесла из погреба огурцов и редьки... Да почисть селедочку... Луку в нее покроши зеленого да укропцем посыплешь этак... знаешь, и картошки кружочками нарежешь... И свеклы тоже... Всё это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда... Перцем сверху поперчишь... Гарнир, одним словом... Понимаешь?

Ребротесов пошевелил пальцами, изображая смещение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в слова... Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул

спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями «Нивы», видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами.

– Мы сейчас... – зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола. – Соберу вот на стол и сядем... Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините... Женское что-то... Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи... Очень может быть! «Душенька, говорю, дело ведь не в пище! Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю... Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему... Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, не произноси слов...» И слушать не хочет! «С детства, говорит, мы приучены».

Вошел денщик и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребротесов пошевелил бровями...

– М-да... – промычал он. – Гм... тэк-с... Это, впрочем, пустяки... Я сейчас, в одну минуту... Маша, знаете ли, погреб и шкафы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять...

Ребротесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене... Жена его спала.

– Машенька! – сказал он, осторожно приблизившись к кровати. – Проснись, Машуня, на секундочку!

– Кто? Это ты? Чего тебе?

– Я, Машенька, относительно вот чего... Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся... Спи себе... Я сам с ними похлопочу... Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду... Побей меня бог. Двоеточиев, знаешь, Пружина-Пружинский и еще некоторые... Прекрасные все люди... уважаемые обществом... Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет... Он уважает тебя так...

– Ты где это налился?

– Ну, вот ты уже и сердисься... Какая ты, право... Дам им по огурчику, вот и всё... И уйдут... Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим... Лежи себе, куколка... Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую... И гости все уважают тебя так... Двоеточиев религиозный человек, знаешь... Пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так... «Марья, говорят, Петровна – это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное... Светило нашего уезда».

– Ложись! Будет тебе городить! Налижется там в клубе со своими шалаберниками, а потом и бурлит всю ночь! Постыдился бы! Детей имеешь!

– Я... детей имею, но ты не раздражайся, Манечка... не огорчайся... Я тебя ценю и люблю... И детей, бог даст, пристрою. Митю, вот, в гимназию повезу... Тем более, что я их не могу прогнать... Неловко... Зашли за мной и попросили есть. «Дайте, говорят, нам поесть»... Двоеточиев, Пружина-Пружинский... милые такие люди... Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмке и... пусть себе с богом... Я сам распоряжусь...

– Вот наказание! Ошалел ты, что ли? Какие гости в эту пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить! Где это видано, чтоб ночью в гости ходили?... Трактир им здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам! Пусть проспятся, а завтра и приходят!

– Гм... Так бы и сказала... И унижаться бы перед тобой не стал... Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а... неприлично выразиться... Змеей была, змея и есть...

– А-а... так ты еще ругаться, язва?

Супруга приподнялась и... воинский начальник почесал щеку и продолжал:

– Мерси... Правду раз читал я в одном журнале: «В людях ангел – не жена, дома с мужем – сатана»... Истинная правда... Сатаной была, сатана и есть...

– На же тебе!

– Дерись, дерись... Бей единственного мужа! Ну, на коленях прошу... Умоляю... Манечка!.. Прости ты меня!.. Дай ключи! Манечка! Ангел! Лютое существо, не срами ты меня

перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись... Бей... Мерси... Умоляю, наконец!

Долго беседовали таким образом супруги... Ребротесов становился на колени, два раза плакал, бранился, то и дело почесывал щеку... Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала:

– Вижу, что конца не будет моим мучениям! Поддай со стула мое платье, махнет!

Ребротесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям. Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос: кто старше – генерал или писатель Лажечников? Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие, Пружинский же говорил:

– Писатель-то он, положим, хороший, спору нет... и смешно пишет и жалостно, а отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится; а генералу хоть целый корпус давай, так ничего...

– Моя Маша сейчас... – перебил спор вошедший хозяин. – Сию минуту...

– Мы вас беспокоим, право... Федор Акимыч, что это у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк! Где это вы угостились?

– Щека? Где щека? – сконфузился хозяин. – Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, хочу ее испугать, да как стукнусь в потемках о кровать! Ха-ха... Но вот и Манечка... Какая ты у меня растрепе, Манюня! Чистая Луиза Мишель!

В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.

– Вот это мило с вашей стороны, что зашли! – заговорила она. – Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью заташил. Сплю сейчас и слышу голоса... «Кто бы это мог быть?» – думаю... Федя велел мне лежать, не выходить, ну, а я не вытерпела...

Супруга сбегала в кухню, и ужин начался...

– Хорошо быть женатым! – вздыхал Пружина-Пружинский, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. – И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется... Знаешь, что есть существо, которое тебя любит... И на фортепьянах сыграет что-нибудь эдакое... Счастлив Ребротесов!

Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену.

– Не стучи сапогами, жёрнов! – сказала жена. – Спать не даешь! Налижется в клубе, а потом и шумит, образина!

– Только и знаешь, что бранишься! – вздохнул инспектор. – А поглядела бы ты, как Ребротесовы живут! Господи, как живут! Глядишь на них и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня Ягой на свет уродилась. Подвинься!

Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.